

Максим Горький

Коновалов

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее: «Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию». Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, — я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути... Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на

губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант. — Передержал тесто! — кричал он, оттопыривая свои рыжие, длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. — Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я — музыкант! Понял? Я — бывало, альт запьет — на альте играю; гобой под арестом — в гобой дую; корнет-а-пистон хворает — кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты — м-мужик, кацап! Давай расчет. А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил: — Губитель! Разоритель! Хриstopродавец Иуда! — Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: — А ежели я тебя за бунт в полицию? — Слугу царя и отечества в полицию? — ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплеываясь и взволнованно сопя. Это все, что он мог сделать, — было лето, время, когда в приволжском городе

трудно найти хорошего пекаря. Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне, в силу этого, приходилось работать за двоих. И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена. — Ну, солдат, — сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, — ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш! — Чего еще?! — мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный. — В поход собирайся! — ликовал хозяин. — Куда? — спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе. — Куда хочешь... — Это как понимать? — запальчиво крикнул солдат. — А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны — марш! Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место. — Ну, это ты врешь!.. — с тревогой сказал он, вставая на ноги. — Иди-ка, иди... — Идти? — Проваливай. — Нароботался, значит... — с горечью мотнул головой солдат. — Пососал ты из меня крови,

высосал и вон меня. Ловко! Ах ты — паук! — Я паук? — вскипел хозяин. — Ты! кровососец-паук — вот как! — убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери. Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали. — Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да! Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, — не возьмут! Нигде не возьмут... — Нового наняли? — спросил я. — Новый-то — он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно — тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить! Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой. — И когда он запьет — нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел, Леса? — Совсем, — отвечал с порога глубокий, грудной голос. Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий, плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босяк, по лицу настоящий славянин. На нем красная

кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой — кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; все это было и в его русской бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато: «Вот я какой... Не обессудьте». — Проходи, Сашок, вот тебе подручный, — говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину: — Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак. — Все будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому — он сам никого не обижает. Разве хозяин — зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребяташки, а я пойду... Мы остались одни. Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь,

осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то. Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение. В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел все это, вздохнул и спросил скучным голосом: — Давно здесь работаешь? Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга. — Экая тюрьма! — вздохнул он. — Пойдем на улицу к воротам, посидим?.. Мы вышли к воротам и сели на лавку. — Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, — не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой — бух в яму! Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его

голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение. Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек... — Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью. Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня: — Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, — и подал мне смятый, запачканный листик бумаги. «Дорогой Саша! — читал я. — Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой

милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья — уехал, со мной не простился. Но все же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке. Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это все вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья. Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду. — А писать ты умеешь? — Могу... — А чернила у тебя есть? — Есть. — Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди мерзавцем меня считает, думает — я про нее забыл... Напиши! — Изволь. Она кто?.. — Проститутка... Видишь — о выключке пишет. Это, значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник? Через полчаса готово было трогательное послание к ней. — Ну-ка почитай, как оно вышло? — с нетерпением спросил Коновалов. Вышло вот как: «Капа! Не думай про

меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока — до свиданья. Твой Александр». — Гм... — сказал Коновалов, почесав голову, — а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же — я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал... — Да зачем это? — А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал — написал! А ты слезу подпусти! Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил: — Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, — мы с тобой уживемся. Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине. — Капитолина? Девочка она, — совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше — больше, и пошла в публичный дом... Я смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она — плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу погоди!» И все у меня было готово, деньги и все... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот

сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо. — Что же ты, — спросил я его, — жениться хочешь на ней? — Жениться, где мне! Ежели у меня запой — какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее — и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет, может, человеком будет. — Она с тобой хочет жить... — Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга — как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы — как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама все плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребенок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего, — очень я дураковат, сам знаю. Что делаю — не понимаю. Как живу — не думаю! И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо

его стало еще печальнее и краше... — Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? — спросил я. — А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в ту пору противеет — и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они — не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» — «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, а противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с таким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго — привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то на даче когда жили, — бывало, поедем с ней кататься, — во весь дух она любила. Приедем,

куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю, да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной — о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и все такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему: «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно — вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь — в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь — жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета — не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была — вот что первое, не тем

ласковая, что подарки дарила, а так — по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и все такое женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». — «Прощай, говорит, Саша». И — чудная — обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти, — недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел. Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой. — Чудачка! Это она на память куснула. Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня

голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее. Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты — чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова... Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, — это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом — он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать. — Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко... — Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, — он ведь никому не

повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку, да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было — верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, — так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина — она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем — вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют. Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти не подобающие ему речи?» А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, все более удивлял меня своими речами. Дрова в печи сторели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно... В окно смотрел кусочек